нулся, минуты дожидался. А подошла минута — и руки не слушаются. Обидно...

— Из-за балалайки? — пожимают те плечами. — Разве можно? Дом чаша полная, сына в люди вывел, у дочек мужья — хозяева крепкие и люди почтенные. Дай бог каждому так жизнь завершить. Блажишь ты, Иван.

А Иван только голову ниже опускает да стакан с сивухой крепче стискивает.

Как им ответить, как объяснить, что ему еще одно, и, видно, главное, назначение в жизни выходило: на балалайке играть. И раз не исполнил того назначения — должник он перед людьми, преступник перед собой и грешник перед богом. И не найти ему покоя, не получить прощения.

Ушел Иван от этих расспросов, в которых видел больше укор, а подчас и насмешку. Пробился кое-как к дому сквозь заросший крапивой да кипреем двор. Сыро и жутко в некогда уютном теплом доме, сделался он прибежищем пауков, летучих мышей и прочей нечисти.

Тошно здесь одному...

Сына или дочек навестить? Зачем? У них все хорошо, не нужен он им. Никому он теперь не нужен, ни людям, ни себе.

Снял балалайку со стены, ухватился за гвоздь, на котором висела, потянул. Крепкий еще, пожалуй выдержит.

Прошел в чулан. Среди изветшавшего хлама отыскал веревку. Дернул раз, другой, посильнее. Нет, только с виду добра — истлела. Взял другую.

В полутемном закутке чулана послышались возня и сопение.

Пригляделся. Там, завернувшись в тряпье, спал мальчонка лет десяти.

— Ты чей будешь? — разбудил его Иван.

— Ничей. Сирота я.

— Взялся-то откуда?

— У бабки Дикунихи жил, да она померла.

— А к Дикунихе как попал? — И, не дожидаясь ответа, спросил: — Руки у тебя целы?

Мальчонка осмотрел свои руки. И с недоумением глянул на Ивана:

— Целы.

— Поднимайся, пойдем, — распорядился Марьин.

В избе указал на балалайку:

— Играть на ней умеешь?

— Не знаю. Не пробовал еще.

— Бери, пробуй. Я подсказывать буду.

Белла Улановская

Альбиносы

Еще не сняты сетки от комаров в форточках, еще висят последние яблоки, еще не вскопан огород, а мы достаем лыжи и смело едем в лес.

Не видно дроздарей, запорошило рябину, затягивается серым льдом озеро. Свеженький белячок проковылял по первопутку. На просеке встретилась захудалая гончарка, приняла сахар, чуть прикусила в шутку рукав и пошла и пошла снова искать потерявшийся у канавы с водой след.

По болотам еще не пройти — под снегом и тонким льдом вода.

Гончарка, дроздарь — из разговоров вслух сама с собой. Дроздари — это из прошлых охот — висели на рябине — часами выцеливала — этого, нет, вон того, или подождать, когда вместе сойдутся, тогда сразу двух, медленно поднимаю ствол — все улетели, последние испуганно проносятся над прудом, и нет стаи.

Еще вчера здесь верещали дрозды, остервенело набрасывались на пышные гроздья. Раскачивались под жирными тушками тонкие стволы, ломались ветки, сыпались ягоды; сейчас здесь пусто и тихо, на земле беспомощно торчат припорошенные снегом черные птичьи лапки обглоданных кистей рябины, кое-где уцелели на них сморщенные ягоды.

Березы еще не облетели — что за яркое и редкое время.

Хорошо выйти утром с ружьем на плече — слышишь не только все вокруг, но и видишь себя со стороны: кажется, неплохо, все ладно пригнано, все справно и тепло.

Проза должна притворяться интересом к действительности, обрастать событийностью, часто будто бы и ничтожной, слишком конкретной, в прозе есть кладовые, лестницы, сараи, погреба, задвижки, замки, печки, поленницы, топоры, скворечники, заборы, мышеловки, коты, собачьи будки, возможно, даже коровы; парадные комнаты, где зимой не топят, и душные спальни, где запираются хозяева в холодное время.

Что тут самое главное — сени, где стоит кадушка мерзлой капусты, или вид из окошка в сад, на речку, плотину и зареч-

ные дали; может, приход соседки с утренней болтовней или субботняя баня, куда привели мыть девяностолетнюю старуху на третьем пару, после всех, когда на запотевшем окошке уже тускло горит керосиновая лампа, и шестидесятилетняя дочь моет свою маму и даже наддает парку.

— Доча, — стонет старуха, — хватит.

Известно сравнение стихов со скульптурой, а прозы с архитектурой. Возможно, это так, если иметь в виду многочисленность построек и обилие подсобных помещений, где утрачивается представление об артистизме автора (так себе мастер, не гнушается баней), — да и стоит ли заниматься всем этим, где главные, где второстепенные главы, не слишком ли много коридоров и проходных комнат — когда же начнется главное — уж не выпивка ли после бани.

Если правда насчет архитектуры — то сколько равномерно распределенных усилий нужно, это не то что слепить зайчика из пластилина.

Илья-пророк льду натолок — похолодела вода в озерах, задули осенние ветры, залаяли в ночной темноте собаки. Давно вылетели из скворечников скворцы, собрались в большие стаи, кочуют по полям и садам, то рассядутся на проводах умозрительными прямыми, то закипят невиданными объемами в воздухе, — каждый мечется в беспорядке, и стая движется в неизменном направлении. Безумство охватывает молодую собаку — она летит по полям, зарывается в овсы, выпрыгивает, чтобы оглядеться, и в бессилии лает. Уже совсем по-осеннему стрекочут дрозды-рябинники, скоро уберут хлеба, вырастут в непривычных местах скирды, образуя новые пейзажи на многие, многие месяцы, и залетают стаи дроздов, заманивая ленивого малоудачливого охотника, пригревшегося в желтых, последнего солнышка ометах.

После ясных звездных ночей выпадают заморозки. Если выйти за ворота на рассвете — можно увидеть, как сияет на солнце поседевшая трава на огромных пространствах полей, плавно, как заводи огромного озера, обтекающих леса.

Если пойти по закрайкам этих полей, то за новым мысом лесного массива открываются новые заливы, а перелески и отдельные особенно разросшиеся на просторе деревья (чету белеющих берез) можно сравнить с полуостровами и островами все того же огромного озера.

Уже давно-давно, еще почти с крыльца слышно токованье тетеревов. Это известные среди охотников ложные осенние тока — птицы, обманутые утренними морозами, напоминающими весну, начинают бормотать в сжатых полях. Льется, журчит бесконечная песня.

Изморозь распространяется по полям полосами, вдруг начинаешь замечать, что кое-где ее уже нет — трава высохла на солнце, а сияющая седина причудливо расползлась по низинам.

Затарахтел вдали мотор — теперь это уже на весь день — начинается работа ровно с того места, где вчера прервана, — растет распаханная чернота, сужаются тетеревиные хлебные кормежки.

На одинокой березе сидит тетерев и глядит на апельсиновый трактор, равномерно разворачивающийся на новую и новую полосу.

Утро кончается. Пора возвращаться.

— Ну что, убила какую-нибудь птюшку? Ставь сапоги на печку да садись чай пить. Самовар готов.

Осенний паучок. Однако главное вычленялось — вот оно вытягивалось из жирного паучьего брюшка, вот выкатывалось прозрачной невнятицей, и она застывала, продолжаясь, а, как известно, то, что превращается из мягкого само из себя в определенное, быстро густеющее, — потом застывает, делается, несмотря на тонкость, жестким, вычленяется в свою форму — и вот оно нечто, определенность, данность. Пробежим снова по всем этим тонким ходам и жемчужным переходам, перечитаем путаную прочность.

Теперь можно и назад — быстро-быстро всеми ножками, вот это место, где мы закрепились — к дереву, к веточке, к сучочку, к корешкам — и теперь: шварк к чертям хитиновой челюстью — и вот мы летим, нас поднимает все выше и выше, юго-восточный ветер течет над лесом, над полем, над рекой, переливается на солнце жемчужная нить, качается на ее конце невесомый паучок.

К середине октября у нас установилась сибирская бесснежная зима. На давно замерзший пруд вышел сосед учить детей кататься на коньках. Целый день кормится в убранном овсяном поле огромная стая голубей, плеснет сизым, разом взлетев в синеву, и снова успокоенно опускается на прежнее место.

По утрам я выхожу из дому, чтобы успеть на электричку 8.56, спускаюсь с Румболовской горы и не узнаю нашей пасмурной чухонской местности.

Сухая безоблачность установилась давно в этом теперь

незнакомом поселке, где все сыты, богаты, живут хорошо, носят соболиные шапки, а вот и автобусная остановка. Ледяной ветер несет сухой колючий песок по посветлевшей от мороза обнаженной земле, «хакасский дождичек», как говорят на Туранском плоскогорье; немного снега сохранилось в бороздах по полям и в тракторных колеях на дорогах, яркая неосыпавшаяся листва примерзла к веткам — прочность, добротность и стабильность.

Могильные комья насквозь промерзшей земли посветлели от холода, звякают листья на дубах.

Затянувшееся предзимье. Завтра выпадет снег, а я так и не спустилась на лед, не пригляделась вниз, в глубину, не разогналась на коньках или финских санях.

Черный щенок путается, скользит, запинается на гладких поверхностях.

Замолкает пластинка, вступает ветер. Трогается, постепенно раскатывается тяжелая немазаная телега от воскресенья к воскресенью.

Утром ходила за хлебом, оставив открытой балконную дверь. Вернувшись, нашла свежий помет синицы прямо на столе. Появились первые лыжники. Идет снег. Конец октября.

Ездила лунной ночью по полю. Пес лаял в сторону леса. Сначала думала — белка, потом поняла — соседи бродят по лесу, выбирая елки. Посидела у омета, подремала на морозе. Хорошо заснуть до утра — не страшно и не холодно. Пес вылизывает лапу с хрупаньем — как будто ест сахар.

Двадцатиградусные морозы. Равномерно ясные ночи. Странно засыпать в этой холодной комнате на краю ледяных пространств. За окном поля, потом лес, и так до Ладожского озера, а вверху тоже холод. Остро горят холодным светом звезды. И вот шевелится под грудой согревающего тряпья живой комок, сворачивается плотнее, поджимает ноги, занимая все меньше места, греет руки между колен.

Откуда в нем тепло. Что-то есть противоестественное в том, что он противостоит всему окружающему своей температурой, ведь простыня, и подушка, и утюг, и тарелка, и стул, и клетчатая тетрадь, и поле, и дерево, и цветок в горшке — все холодное. И только ты один не остываешь. Придет время, и ты сравняешься со всем остывшим.

Жду ли я гостей. Вот окно с многократно описанным видом, вот собака, вот грибки и жареная свинина с мороза под водочку, вот тетеревиная лунка с желтым пометом — как финиковая косточка, вот лохматая черная дворняга, справно бегущая за лыжами.

Вот что я пишу, что ем, где и с кем катаюсь, — вот письма, которые получаю. Как хорошо. Изучайте на здоровье. Если вы не приехали — вы думаете, мне скучно. Просто жалко, что вы там пропадаете. Даже, может, и к лучшему, что вы все не приехали.

Вчера днем шла мимо скотного. В ушанке, штанах, валенках. Увязались собаки: Мухтар, Муха с двумя щенками, да Зорьку спустила впервые с поводка. Проходившие мимо доярки шарахнулись от этой своры: «Мальчик, убери своих собак».

Чистейший голос из прозрачных ручьев и запасенного на лето озерного рубленого льда. Перестает играть пластинка — тогда вступает северо-восточный ветер, поднявшийся к ночи.

Что мне сказать об этом лучшем на свете вечере. Посреди комнаты неподвижно стоит Зорька. В углах уже неразборчивые сумерки. За окнами усиливающийся к ночи мороз. Елки за полем, покрытые выпавшим с утра снегом, как-то особенно окрашенные на закате; через четверть часа пришлось зажечь лампу, уже все из розового стало синим. Еще не совсем стемнело, еще белеют поля, но огни дальних деревень — Романовки, Угловки, Корнево — уже утратили свою таинственность.

Как хороши старые деревья в парке на зеленом еще небе. Кипит картошка, греются щи, Зорька то и дело подбегает к двери.

Февральские ясные ночи, пустая голова, дворняжка потягивается, вылезая из будки.

Неужели жадность, боязнь пропустить? Вот что меня иссушило и погубит.

Надо дойти до того поворота и постоять вон там — когда еще выпадет такая многозвездная ночь. Пес то там, то здесь образует подозрительные сгустки неправдоподобной темноты. Всполошил цепных псов, забежал в открытую дверь чужого дома, выскочил, сбегал в лес, свернул к свинарнику, пропал в поле.

Привокзальное здание из темно-красного кирпича. Сетки, кошелки опрокидываются в алюминиевые миски, но фрукты на

столах не являют собой картины изобилия. Вот три груши, ветка винограда, батон.

Вхожу вовнутрь.

Натертый красной мастикой паркет, сводчатые потолки, стандартные общепитовские стулья, четыре картины на стенах — одного формата в одинаковых рамах — времена года. Для чего эти безжизненные пейзажи, глядя на которые все равно нельзя представить ни зимы, ни осени, — того, что где-то есть настоящая жизнь с ветром, холодом, свободой.

Скорее всего, эти картины, повешенные сюда с воспитательными целями, дают понять, что то, что происходит здесь, не ограничено этим сводчатым залом с узкими, круглыми в верхней части окнами, а стремится распространиться и вовне, потому что эта хрестоматийная зима на тусклой картине дышит такой же безжизненностью, пространство ее так же замкнуто, как и здесь. И, хотя баба с коромыслом, спускающаяся к реке, должна олицетворять собой здоровую картину сельской жизни на бодрящем воздухе, холмы за рекой должны звать в поля, — ясно понимаешь, что то, что происходит в этом вокзальном здании, соотносится с изображаемым, родственно ему.

Как умеет эта баба спускаться под гору со своими ведрами, раскрасневшись на морозе, наклоняться к проруби, разбивать затянувшуюся за ночь лунку, отодвигая шугу, черпать ведром дымящуюся воду; потом, слегка надсаживаясь, привычно подцевать плечом коромысло и плавно, стараясь не расплескать полные ведра, но все же чуть брызгая тяжелой водой на валенки, ситцевую юбку и полу старой плюшевой жакетки, тяжело подниматься в гору по скользкой тропинке, в особенно опасных местах сворачивая в глубокий свежий снег, ощупывая ногой свои вчерашние следы, уже почти занесенные снегом.

Как поверить во все это здесь, в этом пустом вокзальном зале?

Самая жалобная книга. Тихие жалобы о пронизывающем ветре, сырых башмаках, пасмурном пейзаже обязательных прогулок.

Перечитала свою паутину. Зацепилась и остановилась. Прекратилось мельканье. Образ эскалатора с сидящей внизу дежурной — сквозь нее течет изменчивая, но и одинаковая гуща. Жадно, не отрываясь девушка глядит; проводит кого-то взглядом, и снова перед ее горизонтом выплывают и исчезают все новые фигуры.

Вот я выплыла на ее горизонте, шагнула на неподвижное,

шмыгнула в захлопывающуюся дверь и укатила. Задумывается ли она над существованием себе подобных или только отмечает бросающееся в глаза платье, шляпу, чрезмерно длинное пальто, длинноволосых, чернокожих, пьяных, влюбленных.

Изредка на противоположно текущих лестницах замирает возглас узнавания: «Эй!»

Вот оно, наше имя, мы всегда готовы сделать шаг вперед, вот почему иногда нам слышится какой-то зов, но это лишь перерасход, избыток ожидания.

Пока тот, кого окликнули, оглядывается, тоже узнает, его выносит из поля зрения — улыбка, взмах руки — разъехались, нету, исчез, снова каменеют лица. Изъят и узнан, помнит ли он о себе. Кажется, он только что женился. Он любит сладкое. Как он отыскивает свое пальто. Только по номерку. Он занимается чем-то. Бывают очень илистые озера — в них мрет рыба — этим он и занимается. Где-то около озера он нашел себе жену. Она изучает дыхание рыб. Про свой предмет занятий они, конечно, помнят. Каждый знает, куда едет, к какому часу нужно успеть и где лежит его подушка. Счастливы ли они.

Выспались, сыты, не замерзли, хотят ли заниматься отведенным им явлением действительности. Несутся километры кабеля в тоннеле за окном, мелькают номера тюбинговых колец, окна, за которыми кембрийские толщи и немые лица, не дай бог натолкнуться на чьи-нибудь глаза — жадное, но боязливое рассматриванье себе подобных. Как мы все еще не растерялись. (Я и себя-то забыла, а вы говорите — вас.)

Самое дурацкое заключается в том, что, когда я вырастаю перед неподвижной девой (подземные и сверхурочные), я чувствую превосходство как представитель если не живой жизни, то хотя бы движения. Она же, если стала немного философом, — недаром проводит она свои дни в роще у прохладного ручья — видит всех нас, спешащих муравьев.

Она достает бархатный шнур, накидывает его на медные подставки, и поток перекрыт. Некоторое время дно бежит пустое, потом его останавливают и запускают в другую сторону. Почти не сгибая колен вниз бегут первые подростки.

Не мешайте сосредоточиться. В час, когда вечерело и снег за окнами посинел, резко выпятив склоны сугробов, которые вместе с проложенными лыжнями и узкими тропинками вдруг побелели по сравнению с густеющими сумерками снежной плоскости, подойди к окну.

Крики детей по-весеннему доносятся из открытой форточки,

фонари еще не зажглись, и тем ярче и необыденней загорается свет в домах.

Был один из тех дней середины февраля, когда до весны еще далеко, еще должно продолжиться февральское безвременье, метели, глухие рассветы, волчьи свадьбы, заячий приплод.

— Мое время кончилось.

Мое время кончилось, если действительно справедливо то, что для каждого человека есть время года, особенно важное и значительное для него, когда то, что происходит в природе в это время, наиболее полно соответствует его сущности и невнятно указует на его тайное предназначение. Эти значительные в жизни каждого человека дни наступают примерно в месяц его рождения.

Когда начались большие морозы и задули сильные северо-восточные ветры (вот наконец началось), — казалось, что это еще только начало, что главное еще впереди.

Но не разгулялось, впереди проглянула весна и вывела из ожидания небывалых вьюг и волчьего воя в непроходимых чащах.

Переломила весна, облегчила упорную напряженность ожидания следующего, более крепкого, чем предыдущий, порыва ветра, сняла угрюмую сосредоточенность (погодите, сейчас настанет) — и своей легкомысленной синевой заронила заземленность, непристойную по откровенности, потому что всем известно, как увеличение солнечного света благотворно сказывается на всем живом — и вот уже начинается: в открытую форточку по-весеннему доносились голоса детей — и начнется, потечет все это счастье: мартовский наст и зачерствевшие снега, та-та-та и та-та-та.

А потом: все эти весенние Страстные бульвары и соответственные воробьи, весенние наряды женщин и вытаявший навоз — и пойдут все эти тонкости наблюдений света и цвета, воды и льда, оттаивающей днем и замерзающей к вечеру дороги, эта игра, это упоение зоркостью затянет, отвлечет от главного, отодвинет еще на год упорный, медвежий — лбом в темный угол — вопрос.

В дверь позвонили. На пороге стоял горбун с саквояжем.

— У вас есть крысы и мыши? — спросил он входя. — Если нет, то распишитесь вот здесь, — и он протянул разлинованный от руки лист.

Второй день метель. Снег несет параллельно земле и крышам. Когда налетает ветер — направление ломается. Над крышами тоже свое движение — скорее парообразное, — снег

с крыши клубится волнами. У самого стекла — когда смотришь на улицу, — можно различить отдельные снежинки.

Все это уже не страшно. Слой туч неплотен, почти проглядывает солнце. Далеко в поле можно различить светлеющие вершинки сугробов — чего не бывает глубокой зимой. Прибавилось птиц. Поредели стога у леса. Когда стемнело, снег был еще синий, потом задул такой ветер, что забылись весенние приметы. У соседей заиграла музыка.

Третий день метель. Ветер не меньше, чем вчера, и метель настоящая февральская, беспросветная. Тучи тяжелые, плотные, низкие. Воет — лучше не надо.

Легкая весенняя депрессия — от недостатка витаминов? От невозможности найти выражение утреннему разгону, пустынным утренним улицам и переполненным лесам — готовым принять — только соответствуй, как, чем? Пока ты томишься у окна, утро набирает силу, грубеет и ничем особенным не кончается: улицы наполняются невыспавшимися людьми, солнце перемещается вокруг теплых стогов; тетерева расселись на березе, замерзшая с вечера лыжня расползлась мокрой солью; скучный бесконечный день, скоро пойдут с работы вставшие раньше всех, тетерева улягутся в зернистый снег; к ночи, когда края лунок начнут обмерзать, по своему вчерашнему следу на заледеневшей снова лыжне побежит лиса. Ее след тянется вдоль просеки, пересекает озеро и спешит в поле, к стогам, где бегают мыши, оставляя извилистые, как будто накапанные двойными каплями, следы.

Между тем во втором часу дня успели выгрузить всю мебель. Решили сначала носить небольшие вещи: корзины, картонные ящики, узелки с посудой. Потом принялись за бело-голубой пенал, сервант, шифоньер.

Соседская девочка в малиновой кофте, поправляя грязный платок, жадно глядела на дорогие вещи.

Коротконогий неповоротливый детина в распахнутом полушубке качался вместе с деревом на лестнице, прислоненной к березе. Озираясь, он остервенело рубил короткой пилой ветки и ствол по аршину, который подставляли ему снизу.

В окнах склонялись грустные детские челки, кричала на балконе полуодетая женщина в накинутом на рубаху пальто, летели ветки, застревая в соседних деревьях.

Третий раз вывели на прогулку эрдельтерьера. Прошел поезд с глиной.

Вычеркиваем бестолково и опрометчиво начатый день. Был ли он с его дремотой, скукой очереди за молоком, с пасмурным неуклонным потеплением и горячими скамейками перегретой электрички.

Как быстро можно омедведеть. Тяжело переваливаться в своем углу, тяжело поднимаясь, волоча ноги в валенках, неделями не поднимать закатившуюся под стол нужную вещь, быстро оглядываться (взглядывать) в угол, по десять раз в день пить пустой чай и подходить к окну вечером, погасив в комнате свет, чтобы лучше было видно пустую улицу и ближний лес.

Брошенные нераскушенные орехи с острыми следами зубов потом когда-нибудь — разом всё.

Скворцы у своих скворечников на жердочке — сами как черные дырки. Да-да, именно как черные дырки.

Блестящий, как каштан, конек, куда-то мы с ним скачем. Какое-то низкое место, надо пригнуться, шея, ушки, натянутые поводья.

— Какая это порода?

— Азбекская, — отвечает отец, подаривший верховую лошадь.

Земля носит — носит легко, потом вдруг опадаешь, легкость оказывается иллюзорной.

У каждой единицы времени есть свой полновесный, в себе завершенный смысл. Можно заупрямиться, отказаться от продолжения, сосредоточиться на постижении именно этой минуты. Однако чаще всего все заедается, заговаривается, забалтывается, разбавляется, и мы существуем, растрачивая никому не ведомые смыслы.

А между тем сколько здесь сейчас счастья и значения. Оставьте меня все. Я остаюсь здесь и буду плакать об этом всю ночь. Пусть выпадет снег и занесет все следы. Утром вода замерзнет в ведре, и, еле волоча ноги, я побреду к колодцу, не поднимая своего опухшего лица. Неизвестно, удастся ли мне разжечь сырые дрова.

Открытие охоты второго мая. Холодная тяга. По почтовой дороге и по просеке еще снег. С утра народ хлопочет в огородах, не слышно тракторов, после праздничных обедов гуляют, где просохло, принаряженные соседи (то есть без телогреек и резиновых сапог).

Ах, на какую тягу я сегодня не пошла. Ветер неожиданно стих, взошла луна.

Он сказал: «Ставь чайник, я только схожу на реку, и будем есть». Больше героиня его никогда не видела. Он тут же утонул, до завтрака. Это с детства вдолбленный страх «Иркутской истории», знаменитого спектакля, затверженная паника ожидания.

(Однако потушим лампу и взглянем на дорогу — нет, никого нет.)

Хлопают входные двери, стучат лифты, качаются под фонарями тени чужих мужей, лают собаки на краю улицы, и что-то случилось прикладывается к стеклам и бежит к противоположному окну на шум подъезжающей машины. Вот в ней загорается свет, пассажир с заднего сиденья тянется вперед, хлопает дверца, но зеленый значок не виден, ах да, там есть еще люди. Скорее к выключателю — плетется кто-то без шапки, достает что-то из кармана, снова прячет, подходит не к нашему, соседнему дому и останавливается, отвернувшись к стене. Не станем же мы подглядывать.

Снова зажигаем свет и видим в окнах только себя и свой шкаф.

Глупые няньки, как тогда говорили — домработницы, только что прошедшие санобработку — без этого в городе не прописывали, — шарахаясь от машин, ходили к Инженерному замку болтать с солдатами. «Как зовут тебя, как зовут твою маму?» — спрашивали они шестилетнюю хозяйскую дочь и ее глупую шестнадцатилетнюю няньку.

Эти дурищи больше всего боялись перехода на углу Белинской и Литейного, помня, как на этом самом месте грузовик въехал на тротуар, но именно там надо было идти, чтобы попасть в садик за цирком. Они врали, что направляются именно туда, хотя сами так и кружили у главных ворот Инженерного замка, где помещалось военное училище.

Что ж, значит, во всем ругать глупых нянек и «Иркутскую историю»? Кстати, вся наша квартира, вернее ее детская часть, долго вспоминала Надю и одно ее доброе дело.

На воскресенье Надя уходила от нас гостить к тетке и однажды попросила не для себя, ей тоже было рано, роман «Жизнь». Это было послевоенное издание, печать в два столб-

ца и растекающаяся бумага. Что бумага была именно такая, мы поняли, когда книга снова водворилась на шкафу.

Теперь даже не нужно было ждать, чтобы родители ушли из дома, достаточно было матери уйти на кухню, как я подставляла стул, моя соседка Аня, она старше, но ей тоже нельзя, доставала книгу, и мы быстро находили наши любимые места, построчно подчеркнутые чернилами. Кто для нас постарался, Надя или ее тетка, мы не знали, скорее всего солдатик из Инженерного замка с навыком проработки устава.

Услыхав шаги на кухне, мы забрасываем ужасную книгу на шкаф, распахиваем дверь, помогаем вносить кипящую кастрюлю и потом долго находимся во власти странного «как ни в чем не бывало».

Как ни в чем не бывало мы ставим кастрюлю на стол, достаем ложки, — это называется помогать накрывать на стол, — а перед глазами омерзительные фиолетовые водянистые линейки, по которым было написано, как нам казалось, уже после.

«Жанна стояла у окна» — так начинался роман. Эта хитрая Жанна, и имя-то какое противное, как ни в чем не бывало стояла у окна, — нет, с нами такого никогда не произойдет.

Иногда нам не хотелось взрослеть. Вообще, надо сказать, что, как я заметила уже позднее, мы в своей женской начальной школе брезгливо относились к второгодницам, которые уже тронулись в рост. Такое чувство возникало у меня даже к моей подруге, обогнавшей всех по части «формирования» — как тогда говорили, вообще слово «форма», «сформироваться» мы слышали все время. Мы все должны были ходить в форме, с вечера мы должны были приготавливать выглаженную форму, на праздники мы должны были являться в форме, девочку Цветкову, которая умерла в первом классе, похоронили в форме, за отличную четверть многим обещали шерстяную форму, Гале Цветковой купили такую форму уже после смерти, она была двоечница. Кто-то тогда брякнул, не все ли ей равно, но все замахали руками, а Валя Овчинникова, дочка повара, сказала что-то вроде «ее мечта», «последняя воля».

И вот эта моя подруга стала все заметнее вылезать из формы, пока не сформировалась. По воскресеньям мы с ней гуляли по Невскому. Она рассказывала о своем дяде, он пиликает на скрипке перед вечерними сеансами, а последнее время, если дома никого нет, стал усаживать ее себе на колени, во дурак-то.

Болтовню она прерывала шепотом: смотри, какие ножки, — и когда я призналась, что не понимаю, какая разница, она от-

ветила, что бывают очень красивые, вот, например, у нее, ей это ее скрипач сказал, а как узнать, она сейчас меня научит.

Мы с ней как раз выходили из кинотеатра и продвигались в тесном дворе под дождем.

— Вот впереди, видишь какие.

— Чулки забрызганы?

— Да нет, чулки можно отмыть, а ноги-то толстые. А эти, смотри, и не такие толстые, а все равно как у слона, щиколотки могли бы быть потоньше.

Так она водила меня по Невскому, так мне и запомнилось — чисто выметенный широкий тротуар от угла Маяковской до Восстания, и идем мы, тонкие ценители.

— Ой, смотри, куда ты наступила!

— Куда?

— Идешь как маленькая, кто-то плюнул, а ты не видишь.

Ее новая странная разборчивость почему-то соединялась мною с ее преждевременным ростом, мне еще рано, думала я, обращать на это внимание.

«Обращать внимание» — тоже было школьное слово. Обращать внимание на себя — было нехорошо, иногда про кого-нибудь из нас говорили: «она старается обратить на себя внимание».

Таращиться вокруг тоже было не принято.

Вон пьяный валяется, вон матом ругаются, а ты не видишь, не слышишь, ни бровью ни ухом, идет себе, построившись парами, 193-я женская школа, бывшая гимназия, а идем мы в кукольный театр за квартал от школы.

Отпустили на каникулы одну гимназистку раньше по слабости здоровья, и непривычно провела она всю весну дома.

Сидит в начале мая гимназисточка на бревне у заброшенной фермы, встают дыбом от ветра дранки на крыше, давно растаскан на дрова коровник. Гимназисточка разогрелась на припеке, соскользнула с бревна и разлеглась на сырой еще, теплой земле, скосив глаза на трясогузку, которая прыгала возле нее, подбираясь все ближе. Что такое развалилось?

У трясогузки черные крылья, светло-серое брюхо, белая головка; на шее что? черный галстук? повязанная салфетка? передничек? Крутилась, крутилась трясогузка, пока гимназисточка не переменила затекшую руку и не села.

Трясогузка отбежала, но недалеко. Начала подходить снова. Ничего не ела, а все гуляла.

Если бы молодая корова тут развалилась: вот ты кто — корова. Смотри, трясогузка: я молодая корова. Я, знаешь ли,

первый раз здесь после зимы в темном стойле, я неопытная корова, нас только что выпустили.

— Да ты просто корова, много хребтов, шерсти, неопрятная груда, вон ты опять развалилась.

Трясогузка вспорхнула и нагло пролетела прямо над гимназисткой: вон ты кто, и скрылась с этого луга. Кого тронула неопытность коровы.

Еще холодны были лужи, не зароилась в них жизнь, но уже пожелтели цыплячьи пуховки на ракитах, стали высыпать подснежники и желтые мать-и-мачеха. Каждая водомоина, лужа — пока еще чистоты холодной горной речки. Даже пруд у свинарника — леживали боровы, ворочались на середине — синеет, как горное озеро.

Встретился Ольге в парке сын управляющего, студент, и сказал:

— Вчера мне сказали про вас гадость.

— Меня это не интересует, — ответила гимназисточка.

— Вы все же послушайте. Будто вы в пять утра ходите смотреть тетеревиное спаривание.

— Да я... Да только как поют, издали, — смутилась она.

— Слушаете, как поют, — не унимался студент, — и мечтаете о любви. (Будто это какие-то курицы.)

Это легкое бульканье из глубин их гортаней, беспрерывное, за несколько верст слышное; шумит лес, плюхают волны на озере, тает снег, и высыхают лужи, а они: на рассвете и на закате, из года в год — токуют, бормочут, чуфыкают. Какое это легчайшее песнопение. Если не остановишься, не попридержишь дыхания, не отвернешь края платка — то не услышишь. Дальний собачий лай? Звон в ушах? Журчание ручейка? Если не то и не то, и не кажется, то они.

А студент: спаривание.

Бекас — небесный барашек — дребезжит в небе, утки снялись и перелетели на другой конец озера, вальдшнеп прохрюкал над вершинами берез на лесной дороге, а они всё плещут свое влажное бормотание. Они везде и нигде. Туда пойдешь и сюда пойдешь — слышно не громче и не тише.

Какие-то другие время от времени вскрикивают — кто такие? — вон две сели, а сзади встает солнце — простой красный круг — встает в неожиданном месте, совсем не в том, откуда ждали. Какие-то сели мягких очертаний, что делать Ольге. Как стояла, так и не шевелится — может, это такой сучок, крючок в лесу, но они посидели, осмотрелись и улетели.

Дома: Брем, отцовские журналы. Кто это были? Кто скажет. Как тогда — с барашком. То по одну сторону болота, то по другую — не на земле, а в небе — над всей ясной луговиной —

вот он взлетает и падает. Кроншнеп — как будто дребезжанье деревянного колеса у телеги; бекас — блеянье барашка.

Вот, оказывается, кто, выбирай сравненье, конечно, барашек, а Ольге там у ручья и сравнения-то было не подобрать — странная птица.

Так же и с жерлянками.

Барский пруд. Муравлянская плотина. Темный пруд. А в пруду поет многочисленными голосами все одновременно. Уйдешь бродить далеко по полям после захода солнца, выберешься оврагом мимо одного места «Овечий верх» и пойдешь мимо старых скирд соломы — огромных, степных; пригнанная скотина мычит в ближней деревне, долетают отдельные бряки, дергач кричит; перепел: спать — пора, спать — пора, а из пруда орет, орет, и парка-то почти не видно, на краю которого этот пруд, а гремит он, звенит.

Лягушки? Да кто же лягушек не знает. Жабы? «В саду раздавались томные крики жаб?» Позвольте-ка ... тритоны? Кто их знает. Это и вовсе занятие для Базарова.

А ночью! В полночь на Муравлянской плотине. Бывали? (Стояли темных лип аллеи) — вдруг обрываясь, крича, цепляясь, обламываясь, что-то страшное перед тобой шарахается, ты обмираешь, а это птенец грача во сне сорвался из гнезда — вот это что, светишь фонариком, по морщинистому стволу убегает луч, задирается в звезды, бессильный; звезд много, возможна и луна, но в аллеях темно, светлее над прудом — какие мертвые, морщинистые стволы, одеревеневшие складки, мертвая кора. А эти в пруду — кричат, кричат — все разом, да кто они такие — никто не знает.

Вот и полночь. Муравлянская плотина.

Старый барин Лыковинов здесь похаживал. А баранчик: бяша, бяша.

Что же полночь? Перешла, сдвинулась. А соловьи? Соловьи заливались. Особенно одно колено: та-та, та-та.

А Сережа Прочасов? Посвечивал фонариком, шел рядом, потом спустился к плотине. А сейчас мы лягушек вызовем. Заквакал Сережа Прочасов. Заквакал. Обо всем забыл. Не надо, Сережа, уж очень получается. Страшно. Куда там. Квакает Сережа. То самцом, то самкой. Выпрямился над прудом, слился темной фигурой с чем-то. Светло над прудом. Самая лучшая звезда дрожит в воде. Спуститься, что ли, к нему?

— Отвечает! — закричал Сережа. — Слышишь, отвечает.

Вот он — второй голос. Приближается, дрожит: уа-а-а-а.

Склоняется Сережа все ниже, вглядывается в прудовые мути, выплывает оттуда, выпузыривается большеротое: уа-а-

а-а. Раскричались они, глядясь друг в друга. Пропащий человек Сережа. Не упади, Сережа, в омут.

— Вон как я умею, — оторвался, выпрямился, — пой теперь одна, дура.

Отошли, а там надрывалось.

А соловей? (И соловей катил свои колеса.) Что же со всем этим делать? Обнять Сережу Прочасова?

А Прочасов щелкает фонариком, тычет своим слабым светом в звезды — теряются его лучи, Прочасов передергивает луч под ноги — мостик, бревнышки, перильца. Белеет Ольгино платье, холодно тебе — вот плащ, ах бедные, бедные, нечего нам делать со всем этим.

Конец мая. Скоро кончатся соловьи и жерлянки. Еще раз обойти весь парк — теперь снаружи, вдоль ограды — лугами — ну и что?

Снова у пруда. А если выдернуть одну из них — как она кричит, ну хотя бы с чем сравнить?

Из глубины вытягивается печальный звук, бежит вверх и лопается на поверхности. Здесь и там, и по всему пруду тоненьким жалобным голоском — унк... унк...

Почему их не слышно в соседнем, деревенском пруду, за усадебной оградой? Скотину туда гоняют на водопой — вот почему.

После того как доели глухаря — перестали гореть щеки, появилась мнительность — представился черед дней — и остывание, остывание. Появилась торопливость — обогнать события, подтвердить подозрения.

Все сразу прошло — как подошла к окну — здесь моя крепость, кроме того во всех моих окрестностях распространилось столько меня, что запас этот тотчас мне был возвращен и мне снова есть что распространять. Как он верно здесь сохранялся.

Сообщение наше здесь безотказно — если у меня плохо, пусто, ничего нет — мне нечего послать; но если мне есть что сказать, как благодарно они возвращают мне себя, как внятно говорят о себе.

Как верны мне мои дали!

А я-то обижалась, плакала — как будто их не было. Главное — никогда их не забывать, ведь они, милые, меня помнят.

Часто я делаю вид, что их забыла, — тогда начинается подделка под обиженные чужие судьбы. Разве может их что-нибудь оскорбить.

Что может их оскорбить?

У них своя жизнь — каждое мгновение они уже другие.

Попробуй-ка отвлекись от своего хозяйства, когда снова повернешься к нему или хотя искоса глянешь — все переменилось. Вот сейчас: стало темнее, размылись границы светлого и темного неба, зажглись новые огни деревень, но светлы поля, видны крыши парников, звезд еще нет, а если посмотреть на север — там небо совсем светлое. «Я буду смотреть на север! — сказала мне дочка лесника васильевского помещика, которая помнит Бунина. — А что, появись здесь Иван Лексеич, я бы его сразу узнала. Прощай, прощай, приезжай к нам, а я буду смотреть на север, небо там светлое, видны ваши белые ленинградские ночи».

Что может оскорбить самодовлеющую жизнь — то, что течет по своим законам, менее всего зависит от чужого и проходящего.

Однако как легко оскорбить, нарушить. Прежде всего заслонить небо, можно даже совсем небольшим. Поля застроить, ближние ели срубить, озеро окружить дачами, а перед домом — тьфу, тьфу — как бы и вправду не накликать великих преобразований природы.

Значит, просто. Ты меняй свое освещение и зеленей в положенные сроки, неважно, что запасы розового бессмысленно истратились на эту бело-серую стену. В положенный срок и ее чужая плоскость окрасится без толку растраченным на эти убогие поверхности закатом.

Пока мои дали живы и не обезображены, буду и я как они.

Однако буду помнить, что вторжение возможно, угроза существует. Что мне за дело до чужой жизни. Это все равно что обижаться на дальнюю электричку или свинооткормочную фабрику на 250 тысяч голов, которая строится по ту сторону от Романовки.

Я перешла на чужую территорию, где чувствую себя не в своей тарелке. Пора мне убираться восвояси. Навязанные мне способы существования, которые я пыталась терпеливо сносить, подорвали мою веру в то, что у меня вообще есть свои земли.

Сегодня вечером я прошла по своему обычному кольцу и удостоверилась — по-прежнему светлеет. Длинное озеро, холодная заря с севера постепенно тускнеет, и легкая луна отражается в каждой луже. Прислонившись к стволу, посидела над озером. Интересно, когда три наших озера — Бездонное, Длинное и Круглое, — вытянутые в один ряд, были одной большой водой.

В чем моя вина. Нельзя прибавлять фамильярные суффиксы к тому, у чего нет имени. Метафизическая вина.

Соседи поставили чучело гороховое в красной шапке, оно еще не выгорело на солнце, не вымокло под дождями — кафтан на нем еще черный.

Весь день идет весенний мокрый снег. Тускнеет гороховое чучело. Гудит электродойка. Замерзают цветы ягодников. Запойное чтение приличествует более подростку. Липкие от сгущенного какао губы, сонливость, нет сил встать и оторваться.

Побег в чужом платье, ночное озеро, скачка на коне двадцатипятилетней королевы, старомодное красноречие австрийского фрейдиста. Завоевание или провал, успех или поражение?

Окрестности посветлели в преддверии ночных заморозков. Смиренный вечер. Сороки разгуливают по дороге. Безлюдье. Закуковала кукушка. Какой покой.

Тысячу раз благословенно высказывание перед молчанием, пусть оно косноязычно и выдает себя, но оно выпущено в мир, оно существует — только что его не было, а вот уже оно есть — оно беззащитно — каждый из молчащих может осмеять — однако оно существует и чьи-то души вздохнут вместе — им даны слова, их скрытое названо, они могут входить в незамкнутое пространство вещи, хотя на самом деле вещь замкнута, ограничена и едина.

Действительность испытывает зависть к романной наполненности неважно какими событиями. Главное, чтобы происходило что-то, а время было насыщено. Я поняла, что действительность радует тогда, когда дарит насыщенными днями. Соответствия, совпадения, случайности, да и просто как можно больше переплетений. Если перебрать эти события, проверяя их значительность, наступает сомнение, однако кто посмеет осудить мнимую деятельность минувшего дня. Ты причастен к жизни, ты даже сам заплетаешь и там и тут и готов расхлебывать тобою созданные коллизии. (Тут налетели и зазвенели комары, над лугом опустился? поднялся? лег? туман, телят угнали, а на их место выпустили лошадей, с криком носятся ласточки? стрижи? одиннадцать часов вечера.)

В «Униженных и оскорбленных» — прелестное начало — город — таинственная событийность, одинокий мечтатель — что

скрыто за стенами капитальных домов. Потом нарастание событий, беготня. Злодей радуется, так же, как и автор, что закручивает, заводит, провоцирует действительность, угадывает ее возможности и играет последствиями, но в то же время вместе с людьми поэт, его увлекает сам процесс — он рад тому, что что-то происходит и он виновник происходящего, провокатор событий. Его увлекает сама игра, а не только цель. Еще и неизвестно, что больше.

Жизнь мечтателя — короткая буйная событийность и дальнейшее восстановление час за часом случившегося.

Как Тобольская невеста (спрыгивая с широкого провинциального подоконника и напевая): «Я его снова увидела — вот и его и увидела, теперь мне хватит: май-июнь-июль-август-сентябрь». (Моей героине 17 лет, и она подарила мне свой дневник.)

Писала-писала Тобольскую невесту, застряла намертво, пошла на кухню, ткнула вилкой в капусту, пожевала и сказала вслух: ничего у меня не выйдет, да вдруг так прикусила язык, что взвыла, — оказалось, в кровь. Значит, не наводи на себя напраслину, или наоборот: истинная правда.

Что делать с чужим сознанием. Или томасманновская многозначительность, или командировочная очерковая скорогонорка.

Если первое, то высокомерное удивление чужому сознанию; если второе, то журналистское похлопывание по плечу, мол, знаем, и сами вели дневник, молодо-зелено и т. д., прыщи на лбу.

Благословенно место первой встречи, вот план, видишь крестик, где он тогда стоял.

С появлением листвы дали призакрылись. Давно замолчали тетерева. Высохли последние талые ручьи. По-летнему запылили дороги. Чибисовые поля вспаханы и засеяны. Стало скучно. Но поднялся и завыл холодный ветер, и пространство снова расширилось.

После дождя лиловые тяжелые слизняки качаются на молодом пушистом укропе.

Час ночи. Пишу без света, сижу перед окном. За такую ночь — сколько сил накапливается, сколько уверенности. Глаз вмещает мерцающий между деревьями пруд, поля, лес, огни дальних деревень, мягкие синие холмы на горизонте, зеленеющее небо с розовым севером, жемчужные облачка.

От долгого вглядывания дали впитываются, я насыщена, но оторваться не могу.

Огни деревень жирные — можно сосчитать — по одну сторону дороги шесть, по другую шесть, а в Романовке только один. Воет ветер, перебирает паучьи лапы ближних елей.

В клубе праздник. Расходятся пары. Холодно.

Белые ночи кончаются — пора осмыслять.

Высшая повествовательная правда (а она выше жизни) — в краткосрочности и значительности. Чахлые девицы умирают от оскорблений, любовники находят смерть в гибельной любви, подлецы делают свою главную подлость.

Что же получается в нашем случае? Жизнь продолжается, хотя по всем законам сюжетосложения и смысла ей давно следовало пресечься. Но мы наращиваем этот здоровенный ледник, каждую зиму прибавляя новые толщи, за лето слегка подтаиваем и сползаем в каком-то направлении. Однако самодовольству накопления нет пределов. Теперь я знаю то и это, мне полезно разбираться в вашем деле, теперь у меня будет опыт... А для чего?

О тряпочке на проезжей части, взлетающей навстречу каждому автобусу, а больше ни о чем.

Зависть молодого Достоевского — одинокого мечтателя — к событийности, к жизни, которая развивается помимо него — отсюда нагромождение событий в его романах, мечта об участии в них.

Если вы гуляете в хорошую погоду по городу — заглядывайте в подвалы. Теперь они чаще всего нежилые, зато там тоже идет своя жизнь.

Не имея возможности уехать из города и оказываясь среди бела дня на улице в это жаркое время, я стала особенно остро замечать приметы разнообразных трудов.

Вот на солнечную сторону высыпали легко одетые люди, некоторые из них что-то кричат в раскрытые окна дома напротив, другие отвернулись к воде, склонились над перилами набережной. Это последние минуты обеденного перерыва в конструкторском бюро.

Дневные прогулки обнажают многообразие форм парадоксальной деятельности. Вот пример всеобщего разделения труда, доведенного до абсурда: род деятельности, пристроившийся к одной маленькой частице человека, даже не к частице, а так, к кожице. Эта кожица имеет способность расти тем быстрее, чем ее чаще срезают. И вот десяток сытых женщин, довольных своей судьбой, весело болтая, делают свое дело, изредка сетуя на качество кожи в особенных случаях и рассчитывая, через сколько минут они побегут есть. Отлучившись, они возвращаются, садятся, придвигаются поближе, встряхивают салфеткой, бросают быстрый взгляд на клиентку и весело принимаются за дело, втягивая и ее в ощущения зрелой женщины, только что поевшей сливок с булочкой. Вот к своему рабочему месту, взглядывая на себя в каждое зеркало, бредет молодая девушка в коротком халате и шлепанцах без задников. Вдруг она как будто что-то замечает, не отрываясь приближает лицо вплотную к зеркалу, косит глазом к носу, отстраняется, берет расческу, поправляет локон у уха и, не поворачиваясь, говорит: «Что бы такое съесть?»

Выйдем оттуда из раскрытых прямо на улицу дверей и не будем их жалеть, они счастливы и не нуждаются в сожалении, и вернемся отсюда на Разъезжую.

В эти жаркие часы здесь безлюдно, все окна открыты, и жизнь, протекающая за толстыми стенами старых капитальных домов, чуть приоткрылась, слегка вывернулась наружу.

Окно первого этажа. Отдернутые занавески открывают сокровенные задние планы бедной комнаты, из прохладной темноты к цветочным горшкам тянется рука хозяйки с банкой воды, за рукой выдвигается и фигура, но мы уже прошли, явление застыло в своей определенности и законченности.

Жарко. Из подворотен и окон вровень с землей обдает холодной гнилью. Вот окно какой-то конторы. Глубоко внизу различаются плотно друг к другу поставленные столы, из полуоткрытой в коридор двери мерцает стекло доски Почета, доносится треск машинок.

Блеснуло ли сразу из темного конторского коридора или сложилось так в напеченной солнцем голове, не могу сказать, но горечь протянутой к этим горшкам руки, блеск почетной доски (вероятно, так ярко ударила в глаза серебряная фольга, подложенная под стекло) уже давно не дают мне покоя.

Ах, история ворона.

— Ну, Федька, скажи что-нибудь. Откроем мы музей к сроку?

— Кар-р-р!

Его карканье неслось из-под земли, будто из самой преисподней. Прохожие останавливались, прислушивались, оглядывались.

Пыльная дорога, по которой только что прошло стадо. Еще рано, но уже жарко. Такие дороги бывают только в середине лета. Я бы сказала, стояло зрелое жаркое июльское лето. Пустынное в эту пору озеро. Стайка рыб у купальни. Днем я узнала, что поражающая утренняя полновесность, наводящая на мысль о переломе, — и есть перелом (Петр и Павел дней убавил...) — и считается серединой лета.

Жалко и больно. Решительно все происходит без меня. Мне удается урвать лишь намек разгара...

Жалобы турка. Оставшись в подвале одна, закрыв дверь на ключ, я уселась лицом к окну. Голова, не получая необходимого количества свежего воздуха, тяжелеет, ноги стынут от нижнего холода, перетекающего и гуляющего по всем закоулкам обширного подвала. За окном грохочут трамваи и грузовики, сообщая письменному столу, который находится много ниже мостовой, вибрацию.

Жалоба «среда заела» приобретает в данном случае банальный смысл в виде пробегающих по голым ногам особых жуков, имеющих крылья и название «нарывников».

Сидение за письменным столом перед окном, забранным решеткой, и взгляд на улицу лишают многих иллюзий.

Видимое многообразие сводится к простейшим вещам. Въедливое топанье поношенных башмаков с железными набойками говорит о близости рынка, хозяйки идут мимо: по одной — шаги устремленные, озабоченные, и попарно — тогда подвал обдается обрывком их разговора — всегда только одной фразой, но непременно поражающей своей жалкой многозначительностью и удивительной характерностью.

Вслушайтесь: приближающееся хлопанье разношенных туфель, — притаившийся прямо под тротуаром охотник, навострим форточку — сачок, сейчас мы прихлопнем впорхнувшее слово.

Выудим из потока речи ничего не подозревающий лепет, он врежется в сознание, он будет словом не сознающей себя

действительности, разбрасывающей свои восхитительные явления щедро и как будто без смысла.

Выделим из потока последнее слово, оно будет любым, только бы оно залетело в нашу единственную ловушку. Можно раскрыть и другие окна, но я привыкла ловить только на одну удочку.

Грохочут трамваи, мертво чернеют кажущиеся только что вымытыми окна напротив, несется жизнь, вытянутая в линейку, в глубине сидит собиратель бабочек. Он не ждет диковинной, он ждет залетевшей.

Вывеска «Молоко» белеет напротив — символ текучей густой жизни. Если там ее целиком, всю механически разливают по посуде и живо растаскивают, то мы также втягиваем, всасываем происходящее перед нами прямолинейное движение, терпеливо ожидая, когда оно назовет себя само, своими силами, из своих, так сказать, линейных недр.

— А я люблю вареную картошку...

Дурацкий коллекционер, твое сердце зашлось, чего же ты ждал от косного потока, который любит сам себя, гордится собой; он вам сразу укажет, где продается самый лучший молодой картофель; он любит быструю езду, радуется летнему дню в своем вымытом окне и молочному магазину в этом же доме.

Восьмого августа брела по краю леса вдоль овсяного поля и вдруг слышу, как говорю: «Подойдите сюда все». Это был образ смерти.

Меня тянет за ноги груз всего прежде написанного, всех неоконченных Тобольских невест, Путешествий в Кашгар и прозрачных глав, текучих обращений; как бы все разом закончить, потому что и здесь тянет, и здесь поднимаются пузыри на поверхность, и тут что-то затонуло и дает о себе знать. Здесь торчит бревно, глубоко в иле есть снаряды с войны, а посередине затонула целая солдатская купальня. Расчистить бы все наше Бездонное озеро, положить перед собой чистый лист, перевернуться на спину и покачиваться на поверхности, радуясь своему умению лежать на воде. Пускай нас сносит куда угодно, из-под воды нам больше ничего не грозит.

А скрюченная утопленница того несчастного лета? Вон там она, на той стороне узкого залива, которым кончается озеро, — и мы переворачиваемся на живот и круто гребем прочь с того места. Пора и вылезать, холодно, да и на работу скоро.

Слишком взбаламучена вода в этом обжитом водоеме.

Как я заметила, говорят и пишут о том несчастливом состоянии, которое тебе еще только грозит, еще только наступает, говорят вслух об этом, ожидая, что тебя прервут: «Да что вы, это совсем не так», «да вам ли думать об этом».

Вот повесть о старости, старички на даче, здоровые европейские завтраки — что можно и чего нельзя, еще мы любили поджаренные хлебцы с абрикосовым джемом, крепкий китайский жасминовый чай, правильный режим. Старик, сидя в шезлонге, разглядывает непристойные пчелиные глубины цветов, услужливо вьющихся у подлокотников. Его только что усадили, поправили подушку, укрыли пледом, разговор шел о литературе; и вот уже он дремлет, раскрыв рот. Московские гости смущенно поднимаются, но от движения старичок вздрагивает, заглатывает легкие слюнки и поражает гостей верностью суждений.

Прибегает деятельная пожилая жена (новая элегантность, присущая даме ее возраста) и приглашает всех в дом.

После этой повести наш писатель старится на двадцать лет, становится несомненным глубоким старцем, за это время выходит не один его роман, но больше мы уже не встретим кокетливых сетований по поводу нового образа жизни. Останется и превратится в единственную ноту — удивление, я-то жив, а они давно умерли, мои герои, но это будут знаки заматерелости нашего старца, переступившего некий порог и окрепшего, научившегося собирать урожай, разогнавшегося, если можно так сказать, в своей старости.

Как Блок — поэт юности, и даже его юноша стареющий — все же юноша, не муж, так и Катаев — прозаик старости, выгоняющий из нее все, что она может дать. (Как отец у нас гонит ягодное вино из всего, что растет в огороде, и когда не хватает крыжовника, смородины, черной рябины, дома вдруг начинают исчезать банки с залежалым вареньем — они тоже пригодны к перегонке.)

В прозе писателей возрастной литературы иногда вскользь блеснут несколько седых волосин на голове молодого героя и вздохнут три женщины: мать, жена и девушка в красной юбке.

Итак, о седой голове молчат, интересны только первые проблески. Так же и с одиночеством. Воет и жалуется оно только вначале, но, значит, оно еще не настоящее. Оно еще только определило себя: «один я остался на свете», возможно оно уже подыскало замену. Полное и давнее одиночество заматерело, оно обросло повадками, попробуй-ка поставь туда свой чемодан, вы заметили, что для него никогда нет места, ты-то еще

надеешься, что спасаешь и утепляешь, разворачиваешься пуще, хлопочешь и улучшаешь, но вдруг посреди своей деятельной запальчивости встречаешь нежелание перемен, ты уже начинаешь оправдываться, но ведь так лучше, разумнее, но нет, оказывается, давно следовало выметаться со своим хозяйством.

У В—ной. Что это был за открытый урок. Вот вам мои полдня. Проходите пожалуйста, да-да, ко мне семь звонков, садитесь, чтобы всем было видно, вот пятая тарелка, я как раз писала слово (какой длины?). Вот так и живу, пока дом не сломали.

Вы говорите, разложить по конвертикам — конечно, так просто: почему не попробовать — разложили, отправили и забыли. Занялись другим, прозой например, и вдруг из «Работницы», «Крестьянки», «Сельской молодежи», «Человека и закона» и Доброго утречка — замечательные гонорары и нежные ответы.

Сначала мы мягко отказываемся от больших фирменных конвертов, но уговоры крепнут — вот мы уже все вместе за столом с ножницами, клеем, сантиметром; облизываем марки, ласкаем желтые уголки, кипит веселая работа, и самый преданный бежит на почту, рассчитывая на обратном пути успеть в гастроном.

И когда всем казалось, что так и будет, а как же иначе, пришлось оборвать и даже кое-что объяснить. Сначала объяснила вам, потом сказала себе, потом еще сказала себе и незаметно оторвалась, уже давно плыву, выговаривая свою единственную правду, слушая свою подъемную силу — вот он, главный урок — еще со всеми, но уже одна, в своей холодной? горячей? высоте.

Поздний час, пора уходить, гости отодвигают стулья, но ты не снижаешься, не снисходишь — ровно и правильно ревут двигатели — уже ушли, и хорошо, ты продолжаешь прерванное (какой длины?) слово.

Альбиносы. Снова перетаскивали из одного подвала в другой музейное старье, как семь лет назад. Крысиный помет в креслах (любят мягкое), изнанка жизни, задние дворы, брошенные помещения. Стоит только покинуть жилье, как быстро придет оно в запустение — плесень, сухие пауки, сырость, вонь. Две кошки, утерявшие цвет грязные альбиносы, ждали в стороне, пока мы перестанем ходить взад-вперед, перенося с места на место потревоженный скарб с вылезшим волосом, хло-

пающими дверцами, с пустыми ящиками письменных столов, в которых перекатывались ключи и засунутые наспех куски деревянной резьбы. Жизнь вывернулась изнанкой.

А эти кухни за занавесками! Старые дома такие же, как эти кресла, куда шлепнулась усталая старая карга в рабочем халате хранителя фондов.

Здесь только зады, кладовые, лестницы, кухни, но где же живут эти старухи, которые иногда показываются в своем окне? Ведь у каждой только одно окно, и смотрит она из него всю жизнь, вряд ли ей успеют дать другое. Сколько сил надо тратить, чтобы запустение отогнать хотя бы в угол, расчистить хоть середину.

А шкафы, а углы, а корзины, а коридоры — как страшно туда углубляться! Нет ничего страшнее нежилых помещений: эти покинутые перед ремонтом дома, вытащенная мебель — мне противно подойти к задней стенке телевизора или будильника (непонятная изнанка), а здесь километры хаоса.

Есть старушечьи сферы — специально из их мира, то, что их волнует и задевает. Стоял грузовик, из которого мы разгружали рухлядь, прохожие терпеливо ждали, пока освободится дорога, и только старух задевал этот жалкий скарб.

Так в разное время своей жизни мы замечаем разное. То собак, когда сами вывели щенков, то нарядных счастливых женщин, когда сами подавлены и разбиты.

Старухи протирают свои окна, бесстрашно взлезают на подоконники, смело тянутся вверх, еще не пора.

— Ну навезли! Давно пора этой рухляди на свалку, — ворча рифмуют они свою жизнь с увиденным.

Неужели мы видим только то, что видим, и не видим того, что видеть еще рано?

Еще рано: трамвай без пересадок, достоинства черноплодной рябины, порошок «Лотос».

— Тебе рано читать роман «Жизнь», — было сказано нашей шестнадцатилетней Наде, домработнице.

Собаки видят на улице только кошек и других собак; обратите внимание, как беспокоен и непрост бывает маленький ребенок, когда рядом с ним где-нибудь в метро оказывается его ровесник; красавица мгновенно разглядит и оценит другую в противоположном конце вагона, взволнуется, если найдет, что та лучше, или успокоится, если первенство останется при ней.

Неужели мы так и толчемся в пустых дребезжащих рифмах своей жизни?

Но так обстоит дело только в искусственной среде.

Заброшенное негородское жилье нам не страшно.

Бывшие фундаменты мы быстро определим по густым березнякам, мать-и-мачехе, которые скрывают из глаз груды щебня; бывшие куртины нет-нет да и проглянут одичавшей белесой маргариткой; стоят фрагменты липовых аллей, укороченных, ведущих из никуда в никуда, перегороженных часто какой-нибудь свежей спортивной трибуной, а вот и часовня, в которую прямо из господского дома был зачем-то прорыт подземный ход. (Эх, разминулись мы с тобой однажды в этом парке, я прибежала, а ты не подождала.)

Но почему нам так приятны хилые маргаритки и неприятны эти грязные альбиносы?

Вот я в который раз волокусь мимо этих стен, мне из них не выбраться, как и этим соседям, иногда забрезжит на солнце чистое окно, ну и что, прошло семь лет, и пройдет еще семь и семь, а «приметы жалких каждодневных трудов» (цитата) всё те же и рифмуются всё так же.

Иногда выпадали ясные дни, да сколько их, да все они наперечет, вот и нам улыбнулась жизнь, вот и у нас высветлились дали, но отдребезжало радостное возбуждение, и снова покрыты копотью наши поверхности, снова покраснел нос от холода, сырости и малокровия.

Каждая стенка с Кузнечного лезет в товарищи, но я не хочу, не хочу я с вами знаться. Я теперь не ваша.

А милый братик с деревянной змеей у Кузнечного — ты его не забыла, этого старика-торговца, — мимо которого я опаздываю каждый день. Он рифмуется с тобой, каждый день я бегу мимо твоей рифмы, твоего покинутого сизомордого приятеля. Каждое утро посылает он тебе привет своей кистью, усердно разрабатывая ее от отложения солей.

Бегу мимо твердой ногой — сменяются цветы вдоль рядов — только что была сирень, а теперь уже, смотришь, и хризантемы появились, не успели мы нажарить корюшки, а уже и грибы отошли, остались одни разложенные кучками вдоль ограды Владимирской церкви подмерзшие солоники — все это мои утренние разговоры с тобой вдоль затянувшейся метафоры.

Одинаковыми байковыми одеялами снабжены мы были в самостоятельную жизнь. (Тайпи давно уже глядит на меня со своего места, теперь она угрожающе встряхнула ушами и встала за спиной. Надо идти, а холодно, темно, заморозки.)

Начало октября, а пруд замерз. (Холодина зверющий, — как любил говорить Ремизов.) Пока гуляли, представилось, что все мои дальнейшие письма, сколько бы их ни было, будут

повторением одной и той же цепи: стены, фонды, старец со змеей, Тайпи, Марди, Дик — сколько их потом ни будет — собаки сменяются быстро — их век короткий. Нельзя безнаказанно бегать туда и обратно вдоль метафоры длиной в жизнь.

Когда теплоход встал в Сердоликовой бухте, кто-то вдруг полез на нависающую над пляжем скалу — все замерли. С ума сошел, остановите его, да что он делает! Но как легки были его движения, как нежно приникал он к скале; вот, достигнув вершины, он уже спускается. Спокойно. Его левая нога что-то уж очень пружинисто раскачивается, пока отыскивает опору, — от такой чрезмерности можно и поморщиться, но вот мягкий прыжок, и он, слава богу, на земле.

Однако артистизма и изящества тут не отнимешь.

Неплохо добиться такой красоты и легкости в своих упражнениях.

Вот он тренировался в странных, никому не нужных занятиях — одолевать скалы. Да к чему вообще эти скалы, вон большинство человечества живет себе и не подозревает, что есть такие уродливые нагромождения (а у нас тут хорошо, ничего такого — землетрясения, наводнения — не бывает, у нас, слава богу, от гор и моря далеко, земля ровная, — сказала мне старуха, дочь лесника, — центральные губернии России, «Жизнь Арсеньева»).

И вот около этих гротескных образований формируется редкое искусство на них взлезать. На потухшем вулкане поселяются колонии этих стажеров и совершенствуются вдали от посторонних глаз.

Но для чего расцветает это странное искусство — наверху пусто и нет ничего интересного.

И вот один из них, не стерпев герметичности своих занятий, спускается в пустынную бухту, куда раз в день приходит пароход с репродукторами, буфетом, экскурсией по радио, и, дождавшись, когда туристы, искупавшись, набрав кучи камней, переодевшись в сухое, соберутся снова на палубе и будут ждать отправки, начинает демонстрировать свой смертельный трюк.

Итак, вначале захвати дух своей гибельной решимостью (да куда он, да с ума сошел), а потом заставь любоваться своим рискованным искусством на большой высоте.

Интересно бы только узнать, новичок он, недавно научившийся кое-чему, или опытный альпинист-скалолаз.

Отчего так волнует всякое проявление легкости, свежести, искренности, но не там, в прежние времена, а здесь, рядом; как благотворны эти свидетельства среди выцветающей жизни, значит еще что-то может случиться, значит не исчерпаны вытоптанные, засыпанные битым стеклом пустыри. И наоборот, обычно сверстники и современники тоже небезучастно имеют ваются своими неудачными худ. текстами в мою жизнь. Да мне-то какое дело, да я-то при чем, а при том, что вот тут похоже, и я могла бы написать такое, неужели могла бы? И уже начинает казаться, что могла; и вот уже не подняться с дивана, отсыпаюсь целый день около кулька обгрызенных сухофруктов, а завтра на работу, вот и прошли благословенные долгожданные выходные.

Теперь не так, давно не так. Мои ранние утра теперь никому не отдам.

Да что же я сижу, когда такая музыка по части сорваться с места да задать жару всем на удивление (чья это такая выискалась, раздайся народ, меня пляска берет).

Тут можно быть поосмотрительнее, эка невидаль — сорваться с места.

Не велика заслуга потреблять черные консервы воспламенения. Что завестить от поп-музыки, что от поп-книжки.

Конечно, следует шагать под музыку собственного оркестра (Торо), и что уж тут хорошего — воспламеняться от чужих ударников или пустых дачных бочек нового любимого писателя.

Однако ничего не поделаешь; независимость и самостоятельность — твердим мы. Но что бы мы делали без этих счастливых опор, вовремя случившихся предзнаменований; однако не похоже ли это на горох без прутьев; как он, бедный, начинает раскачиваться даже в безветрие, как шевелит он своими усиками, а то вдруг ухватится за сочную травку мокрицу, поползет за ней по земле и пропадет, если не натолкнется на что-нибудь более подходящее.

Жизнь разложилась на аргументы — все плохо — все пропало, или: не так уж и плохо — еще можно что-то сделать, еще может появиться нечто живое и новое, а значит, и я не пропала.

Но нельзя же так поддаваться внешним событиям, скажете вы. К черту среду, доказано, что среда ничего не значит, но если речь идет всего лишь о заглохшем одеревеневшем овоще, а не о знаменитом дубе. Ладно. И не такое бывало. Мы встаем, утираем полотенцем лицо и выходим на улицу. Пора закрывать на ночь огурцы. Пока обрабатывался поучительный гороховый пример, цыганская корова вломилась в огород (наш

с краю) и объела весь цветущий горох на грядке. Уцелело немного.

Зато рядом пышно разрослась кудрявая трава кинза (кориандр).

Я как будто приходила в себя после тяжелой болезни, по нескольку раз на дню спала, потом, укутанная в зимнее, вылезала из дома, плелась в сторону леса, садилась на первом же пне или поваленном дереве и часами грелась на апрельском солнце, с сочувствием смотрела на синиц (теперь я знаю, что синицы для санаторных окошек и аллей), потом вздыхая поднималась и тащилась домой — какое счастье, неужели все позади — так идут домой довольные своей жизнью одинокие старухи, вспомнив, что в подарочной коробке еще кое-что осталось, и потом долго и с удовольствием пьют хорошо заваренный чай, всегда из одной и той же чашки.

Однако пора вылезать из укрытия.

В деревне Румболово, на Нагорной улице, поднимаем капюшон и глядим на все четыре стороны.

Вчера был выметен мусор из служебного стола и было покончено с позорной арифметикой «семь и еще раз семь», и пускай эта еще одна школа остается и производит новые наборы. Когда-нибудь мы туда забредем, в этот переулок.

Интересно, что теперь там. А неинтересно.

Расчищаем письменный стол, убираем лишние книги, стираем пыль с бумаги, локтем отодвигаем прочие предметики. Расчищаем время, подготавливаем поляну, вырубаем подрост.

Готово. Ничего не мешает.

Широкий прокос в судьбе.

Голая хозяйка хутора входит по колено в воду и выкашивает узкую дорожку в прибрежном густом тростнике, вот она уже по пояс в воде, можно выплывать на середину озера.

Петр Чейгин

* * *

Что горлом вынести?
Сиреневую гроздь,
что влажная наполнила ладонь?
Или февральская подснеженная мгла,
кочующая льдами, диким садом,
где яблоком ему не угодить?
Мороженые зерна пересыпать
землей, хранимой комнатным цветком,
что суженый твой пестует, лелеет,
твой береженый.

Вышли караси
из мыльной пены Солнце наблюдать,
дубовых листьев шорох посмотреть
и просто так:
узнать, что происходит
в заоблачном апрельском лесопарке.

Происходило:

Я иду аллеей
и тихим прутиком считаю повороты.
И говорю:

Загадывай погоду
и место пребыванья на Земле.
Сегодня ясный день,
бери его, как соду,
и горло полощи,
придется ли еще.

Карасики — игривые ребята
за чепушинкой бросились,
качают
подводное зеленое растенье.
Но мне хватает выдержать его.